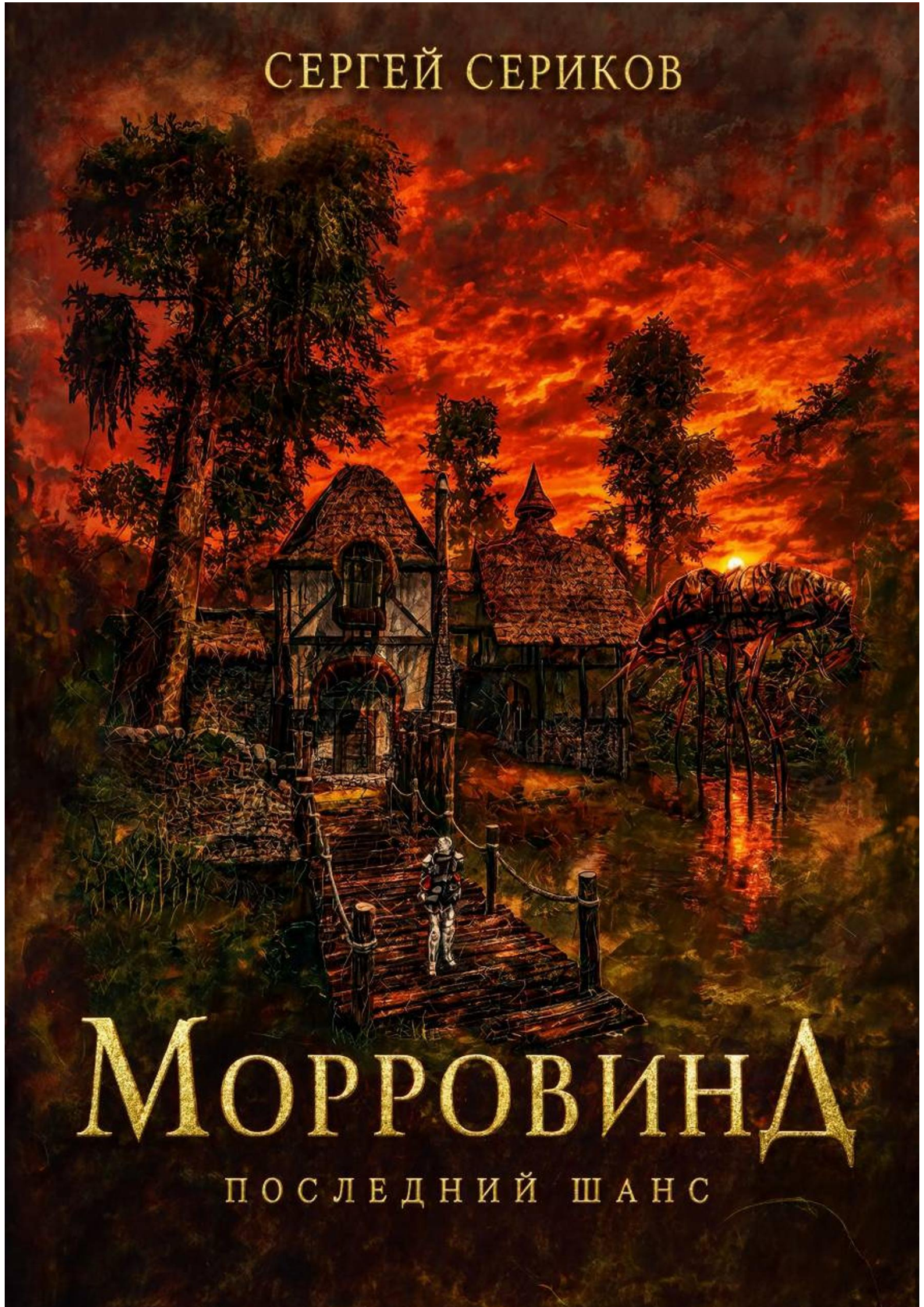


СЕРГЕЙ СЕРИКОВ



МОРРОВИНД

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Сергей Сери́ков

Морровинд. Последний шанс.

«Автор»

2026

Сериков С.

Морровинд. Последний шанс. / С. Сериков — «Автор», 2026

Книга представляет собой захватывающую историю попаданца: обычный программист из современной России оказывается в суровом и опасном мире Морровинд — вселенной знаменитой игры. Это реал-РПГ, где герою предстоит выжить среди чуждых законов, магии и бесконечных опасностей. Главному герою приходится использовать свои знания и смекалку, чтобы адаптироваться, сразиться с врагами и найти свое место в новом мире. Перед ним открываются уникальные возможности, но каждый шаг требует осторожности и продуманности, ведь цена ошибки — жизнь.

© Сериков С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Сериков

Морровинд. Последний шанс.

Глава 1

Тьма пахла смолой, чужим потом и сырым деревом — тремя слоями, что ложились один на другой, как срез старого ствола, и снизу, от самого пола, поднималась тяжкая, липкая кислая нота, в которой безошибочно узнавалось нутро корабельного трюма, где месяцами не проветривали, где стиралось в труху всё живое и оставалась только кислая вонь человеческого отчаяния, просачивавшаяся сквозь щели между досками в трюмный воздух, густой и тёплый, как подогретый бульон. Я лежал на спине, и спина чувствовала под собой мокрый, скользкий пол — не холодный, не горячий, а именно мокрый, и эта мокрота въедалась в рубаху, в кожу, в самую мысль о себе, и я не мог понять, сплю я или нет, и по привычке попробовал поднять руку к лицу — проверить, есть ли ещё лицо, есть ли ещё рука, и рука была, и лицо было, но они были чужие: пальцы тоньше, ладонь суше, кожа на костяшках гладкая, без мозоли от мыши на правой, и вес головы, когда я чуть повернул её в сторону, был другой, и я понял, не сразу, а через несколько длинных секунд, что у меня больше нет моего тела.

Это открытие не испугало. Оно пришло как факт, как ровная строка в журнале логов: «тело не найдено, ожидается новое». Тридцать два года я программировал, и привычка не паниковать от ошибок, а просто пометать их как новый класс исключения, сработала прежде, чем проснулась паника. Я лежал и слушал трюм. Где-то наверху поскрипывал такелаж, тяжело, медленно, как старик, ворочающийся в постели. Корабль качался — мерно, мелко, не как шторм, а как лодка на отмели. Под скрипом прослушивался другой звук: ровное дыхание, не моё, чьё-то ещё. Рядом. Близко. На расстоянии вытянутой руки.

Я лежал неподвижно и прислушивался к каждому звуку. В первые минуты, когда понимаешь, что ты в чужом теле, даже пошевелиться страшно — будто делаешь шаг в темноту, а уверенности нет совсем. Были только факты: трюм, тьма, чужое тело, запах смолы, чьё-то дыхание, и где-то очень далеко, на дне памяти, — серый рассвет над Невой, мокрый гранит набережной, дождь по стеклу офисного окна, и негаснущий монитор, на котором завис недописанный коммит. Я помнил всё это. Помнил отчётливо, с физической точностью, как помнят только то, что было секунду назад. Но это «секунду назад» в другом мире, и в нём уже не было меня — там, на набережной, был другой человек, и звали его Алексей Воронов, и он курил у окна и ждал деплоя, а деплой не шёл, и он ещё сказал себе: «Ещё полчаса», и полчаса растянулись в вечность, в которой я очнулся в трюме безымянного корабля, без имени, без тела, без единого шанса объяснить миру, кто я такой и почему у меня в кармане больше нет телефона.

Дыхание рядом изменилось. Стало неровным, и потом послышался шорох — кто-то двигался по доскам, тихо, по-хищному, как кошка. Потом — голос, низкий, с хрипотцой, и в этом голосе была странная мягкость, которую я узнал не сразу: мягкость хищника, который спрашивает, не нужна ли тебе помощь, прежде чем решит, что с тобой делать.

— Кайлен, — голос произнёс это слово, и я не сразу понял, что это имя. — Кайлен, просыпайся. Кажется, мы прибыли в Сейда Нин. Ты живой или нет?

Я промолчал. Не потому, что не мог ответить, а потому что имя — Кайлен — откликнулось внутри, как откликается струна, задетая случайно, и я понял с холодной ясностью, что имя это моё, что оно сейчас ближе ко мне, чем Алексей, чем Лёша, чем всё, что я помнил из прошлой жизни, и что отвечать на него мне придётся, хочет того бывший Алексей Воронов или нет. Голос подождал, потом повторил, уже тише, как будто проверяя, не показалось ли:

— Кайлен. Не спи. Пристань через час, и если тебя не выведут на палубу как живого, оставят в трюме до обратного рейса, а обратный рейс — это рабство в Садрилите. Ты меня слышишь?

— Слышу, — сказал я, и голос, который я услышал, тоже был чужим, — тихий, ровный, с лёгким гортанным оттенком, как будто я всю жизнь говорил на чужом языке и только сейчас нашёл родной.

— Ну вот, — голос облегчённо выдохнул. — Лежал неделю как мёртвый. Я уж думал, не выкарабкаешься.

Я сел, опираясь на локоть, и трюм качнулся, и тьма качнулась вместе с ним, и на секунду меня затошнило — не от качки, а от запаха, который навалился всей своей тяжестью: смола, моча, прокисшее вино, чья-то давняя рвота на дне трюма, и ещё что-то, чему я не мог подобрать названия, но что узнавал телом, не разумом, — вонь медленного умирания, которая бывает только там, где людей держат впритык друг к другу неделями.

— Кто ты? — спросил я.

— Джи'дар, — голос произнёс это без паузы, как будто представлялся уже в сотый раз. — Из Сеншала. Хаджит. Тебя сбросили в этот трюм неделю назад, может, больше — дни здесь идут криво, солнце не видно. Сначала ты бормотал что-то про Питер, про какой-то код, про мать в Пскове. Я думал, ты из контуженных, каких везут с пограничья. Потом затих. Я пытался влить в тебя воды, два раза в день, по чуть-чуть. Думал, не выживешь. А ты вот — открыл глаза, и тебя зовут Кайлен, и ты слышишь меня, и я рад, что не зря тратил воду.

Я молчал. Имя Кайлен он сказал, как само собой разумеющееся, и я не помнил, чтобы называл его ему, — но, видимо, бредил вслух, и хаджит подхватил то, что уцелело в горячке. Я хотел сказать ему, что я не Кайлен, что я Алексей, что у меня в Питере остался недописанный билд и кот у бывшей жены, и что мать, наверное, уже неделю не может дозвониться, — но слова не шли. Они складывались в голове, как складывались строки кода, и где-то на уровне рта ломались, потому что ртом теперь владел Кайлен, и Кайлен не знал ни Питера, ни кота, ни матери, ни билда. Я понял это и сжал ладонь в кулак, и чужая ладонь послушалась, и кулак был лёгким, как у мальчишки, а не у тридцатидвухлетнего мужчины.

— Ты как, держишься? — спросил Джи'дар.

— Держусь, — ответил я, и это была первая ложь, которую я сказал в этом мире.

Где-то наверху, над нашими головами, загрохотали башмаками — кто-то тяжёлый, в сапогах с подковами, прошёл по палубе, и палуба ответила гулом, и под нами, в трюме, задрожали доски. Потом раздался голос, рявкающий, казённый, имперский, из тех, что привыкли отдавать приказы и не ждать, что их переспросят:

— Подъём! Через четверть часа — выход на берег. Кто опоздает — тот поедет дальше, и не в хорошее место.

— Слышал? — Джи'дар тронул меня за плечо, и рука у него была тёплая, сухая, и пальцы — тонкие, как у музыканта, и когти на концах царапнули мне по коже легко, без умысла. — Вставай. Я помогу.

— Помоги, — сказал я, и хаджит подхватил меня под локоть, и поднял, и я встал, качнувшись на чужих ногах, и трюм открылся мне на фоне тьмы — чёрный, низкий, с тёплым пятном света где-то наверху, в люке, из которого спускался трап. И я подумал, что это не сон. Сны не пахнут так. Сны не дают под руку хаджиту с тёплой рукой и когтями музыканта. Сны не откликаются именем, которое не моё, но которое ближе ко мне сейчас, чем любое имя из прошлой жизни. Это не сон, понял я. Это — отсюда. И отсюда не выйти.

Глава 2. Трап и солнце

Через четверть часа Жи'дар вывел меня к трапу, и я поднимался первым после него, цепляясь ошеломлённо чужими руками за мокрые перекладыны, и каждая перекладина отдавала в ладонь холод дерева и шершавую кожу отполированной поверхности, по которой спускались и поднимались сотни людей до меня, и я был одним из сотен, и это была сейчас единственная мысль, которая у меня держалась в голове, пока тьма над люком становилась всё светлее и светлее и наконец превратилась в белое, ослепляющее пятно неба, в которое я вынырнул, как ныряют из-под воды, задыхаясь, глотая воздух, не успев сообразить, что это за воздух, — солёный, тёплый, с горечью водорослей и сладостью гниющей рыбы, и под всем этим — что-то ещё, кислое, смолистое, как будто солнце само по себе пахло кипящей смолой и прокалённым камнем.

Я стоял на палубе, шурился и не мог открыть глаза. Свет резал, как физический удар, и я поднял руку, чтобы закрыть лицо, и ладонь была тоньше, чем я ожидал, и запястье — тоньше, и я снова — в который раз — отметил это, как отмечают в логах новую аномалию: тело лёгкое, тело не моё, тело — инструмент, к которому нужно привыкнуть, как привыкают к новой клавиатуре, на которой первые дни путаешь раскладку. Жи'дар встал рядом, и его силуэт на фоне белого неба был отчётлив: невысокий, жилистый, в длинной полосатой рубахе, перехваченной у пояса витым шнуром, и морда у него была — я разглядел, когда глаза немного привыкли — узкая, кошачья, с рыжим мехом, выгоревшим на солнце, и глаза — янтарные, без зрачков, с вертикальной прорезью, и в этих глазах была та же мягкость, что и в голосе: мягкость хищника, который точно знает, кто перед ним, и точно знает, что с ним можно сделать, но пока не делает.

— Не смотри прямо на солнце, — сказал он тихо. — Обожжёшься. Здесь солнце не шутит.

— Я знаю, — сказал я, и не знал. Я не знал ничего. Я стоял на палубе имперского корабля с именем, которое мне не моё, в теле, которое мне не моё, в одежде из грубой ткани, которая мне не моя, и передо мной, за бортом, лежал город — если это можно назвать городом, — и я узнал его, как узнают по фотографии место, где никогда не бывал, и узнал с такой физической точностью, что на секунду меня затопило странное, почти благодарное чувство: я знаю, где я. Я знаю, как называется этот город. Я знаю, кто стоит вон там, у пирса, в имперском доспехе. Я знаю, что мне нужно делать дальше.

Это чувство было ядом. Я узнал его сразу — узнал по прошлой жизни, по опыту разработчика, который слишком рано решает, что понял чужой код, и потом платит за это часовым отладчиком. Это чувство «я знаю» — самое опасное, что есть в этом мире. Я стоял на палубе, шурился и думал: я знаю, где я. Я знаю, что это — Сейда Нин. Я знаю, что меня ждёт вон тот имперец у пирса, и знаю, как его зовут, и знаю, что он спросит. И я знаю, что из этого знания не выйдет ничего хорошего, потому что реальность никогда не совпадает с картинкой, и картинки не пахнут, и картинки не дают под руку хаджита с янтарными глазами.

— Кайлен, — Жи'дар тронул меня за локоть. — Мы выходим. Я — первым, ты — за мной. Не разговаривай. Не здоровайся. Не задавай вопросов. Здесь не любят, когда задают вопросы.

— Почему? — спросил я, и тут же понял, что вопросом нарушил его правило.

— Потому что тот, кто задаёт вопросы, — ответил Жи'дар, — признаётся, что не знает. А не знать здесь — значит быть жертвой. Запомни это. Ты мне был дорог неделю, пока я поил тебя водой. Будь дорог мне ещё день, и не дай им увидеть, что ты не знаешь.

Я кивнул. Жи'дар двинулся к трапу, что спускался с борта на пирс, — и двинулся мягко, бесшумно, как кошка, как будто всю жизнь ходил по чужим палубам и знал каждую щель, каж-

дый выступ, каждый канат, за который можно ухватиться. Я шёл за ним, держась за борт, и ноги подкашивались, и колени не слушались, и каждый шаг отзывался в животе тошнотой, — тошнотой не от качки, а от света, от запахов, от невероятного, не помещающегося в голове изобилия реальности: я видел, я слышал, я обонял, я чувствовал кожей сразу всё, чего в жизни никогда не чувствовал. Ветер с воды. Соль на губах. Жара солнца на темени, проходящая сквозь тонкие волосы и отдающая в череп тупым, тяжёлым теплом, как будто внутри головы кто-то положил нагретый камень. И под всем этим, на дне всего этого, — мерное, глубокое, тёплое: сам мир, который дышал, как дышит живое, и я был в нём, и он меня держал, как держит большая ладонь маленькую руку.

Пирс встретил меня белым камнем, горячим под ногами, и запахом копчёной рыбы от лотка, что стоял у сходен, и голосом имперца, который не смотрел на нас, а смотрел сквозь, как смотрят на доски пирса, и я прошёл мимо него, и он не остановил меня.

Джи'дар шёл впереди, не оглядываясь. Он шёл к берегу, к городу, к рынку, к чему-то, что было ему известно и мне — нет. На полпути по пирсу он чуть повернул голову — не ко мне, а в сторону, — и я уловил в этом повороте короткое, быстрое: прощай. И я понял, что больше не увижу его, и что это правильно, и что в этом мире не держатся за тех, кто неделю поил тебя водой, и что благодарить его сейчас — значило бы выдать нас обоих, и что он знает это лучше меня, и он уже простился, и я — нет, и не успею, и это тоже правильно, и я только кивнул, в спину ему, и он не видел, и это было всё, что я мог ему дать.

Я стоял на пирсе и смотрел на Сейда Нин. Бухта лежала передо мной — выжженная, пыльная, яркая, с белыми домами на холмах, с зелёной водой, с эльфийской архитектурой, что поднималась по склону, как наросты на старом дереве, и с пирсом, где стоял имперский офицер и ждал, чтобы я к нему подошёл. Мир — первый раз — выглядел как игра. И первый раз — не был ею. Потому что игры не пахнут прокисшим пивом и нагретым камнем, и игры не имеют над головой такого солнца, и в играх хаджиты не прощаются молча, в спину, чтобы не выдать того, кто был им дорог неделю. Я стоял на пирсе и думал: я знаю, где я. Я знаю, что это — Сейда Нин. Я знаю, что вон тот имперец — Селлус Гравий. Я знаю, что он спросит меня, как меня зовут. И я знаю, что я ему отвечу, и я не знаю, почему я это отвечу, и это незнание — единственное, что у меня есть, и я понесу его к нему, как несут единственную монету к единственному ростовщику.

Глава 3. Имя

Селлус Гравий стоял у сходней с пиросом в одной руке и с пергаментным журналом в другой, и я шёл к нему, и каждый шаг давался мне труднее предыдущего, не потому что ноги не слушались, — ноги уже слушались, — а потому что с каждым шагом ко мне возвращалось привычное, профессиональное, выученное за годы работы: я анализировал. Я отмечал рост — выше меня на полголовы, в имперском доспехе, который сидел на нём, как сидят только ношенные вещи, — потёртый на локтях, залоснившийся на плечах, с застёжкой у ворота, что поблёскивала медью в солнечном свете. Я отмечал лицо — узкое, обветренное, с шрамом на скуле, какой бывает от ножа, а не от меча, и с глазами серыми, водянистыми, какие бывают у тех, кто рано встаёт и поздно ложится, и кто долго смотрит в бумаги при свече. Я внимательно разглядывал его руки: ладони были квадратной формы, пальцы короткие. На среднем пальце красовалось кольцо с печатью, потемневшее от времени. Металл не походил ни на серебро, ни на золото — какой-то незнакомый мне сплав. Такого кольца у меня никогда не было.

И я отмечал запах — запах кедрового масла, и под ним — пот, и под ним — кожа доспеха, и под ним — ещё что-то, чему я не мог подобрать названия, и что было у этого человека своим, ни на что не похожим, как бывает свой запах у старого оружия, которым пользовались часто и берегли плохо.

— Имя? — спросил он, не здороваясь, не поднимая глаз от журнала.

Я остановился в двух шагах от него, и язык мой не повернулся. Не от страха, — от того, что я вдруг понял: это будет первое, что я отдам этому миру. Не тело, — тело уже отдано, и не мной. Не неделю бреда в трюме — это уже было. А вот это — имя, которое я сейчас произнесу, — это будет первое, что я выберу сам, и выбирать надо было быстро, потому что Селлус Гравий поднял на меня глаза, и в этих серых водянистых глазах не было ни жалости, ни любопытства, а было только ожидание, какое бывает у чиновника, у которого в очереди ещё сорок человек, и каждый должен сказать своё имя, и каждому он должен вписать это имя в журнал, и каждому он должен сказать «свободен», и это — работа, и её надо делать, и она не должна занимать больше тридцати секунд на каждого.

— Алексей, — попробовал я, и язык не пошёл, и губы не сложились, и я услышал, что из горла моего вышел только невнятный хрип.

Селлус Гравий поднял бровь. Не высоко — на полсантиметра. Но я увидел в этом жесте всё, что он не сказал, и всё, что он думал: «Контуженный. Их везут много. Прощать или нет — решать мне». И я решил не быть контуженным.

— Лёша, — попробовал я снова, и снова — не пошло, и я услышал, как слово рассыпалось у меня во рту, как рассыпается в пальцах сухой песок.

— Раса? — спросил Селлус Гравий, не дрогнув ни одним мускулом лица. — Бретон?

— Бретон, — ответил я, и слово вышло легко, и Селлус Гравий записал, и перо закрипело по пергаменту, и этот скрип был мне знаком, как знак, что я уже не в игре, и что в этом мире записи остаются, и что в этом мире меня уже записали, и что теперь я есть, — Кайлен, бретон, освобождён по приказу имперской канцелярии.

Имя «Кайлен» я произнёс третьим, после двух неудачных попыток, и оно вышло само, как выходит само слово на родном языке, когда чужие слова не идут, и я понял, что носить его мне — до конца, какой бы длины он ни был. Селлус Гравий записал его в журнал, поставил точку, посмотрел на меня снова, на секунду дольше, чем следовало, и в этом взгляде была — мне показалось — короткая, нечитаемая прикидка: ты мне интересен или нет, ты мне полезен или нет, ты мне опасен или нет, и в итоге — нет, не интересен, не полезен, не опасен, и он двинулся дальше.

— Освобождён, — сказал он, закрывая журнал. — С сегодняшнего дня ты свободен. Свободен — значит, ты не раб, не каторжник и не арестант. Свободен — не значит, что ты гражданин. Гражданин — это те, кто платит подати и имеет землю. У тебя нет ни того, ни другого. У тебя есть только то, что я тебе сейчас дам. Возьмёшь — и ступай в Канцелярию, к Каю Косайдесу. Не найдёшь его — ступай в Балмору. Дорога длинная пойдёшь — сам увидишь.

— Селлус, — сказал я, и он обернулся, и в его лице я увидел короткое, ничтожное удивление, что я назвал его по имени, — а я назвал, потому что узнал, и узнал неправильно, и не подумал, что он мог не представить, и не подумал, что в этом мире люди не читают мыслей, и не подумал, что я уже выдал себя, и Селлус Гравий был профессионалом, и он увидел, и он запомнил, и я увидел, что он запомнил, и в этот момент между нами пролегла первая тонкая, незримая, но необратимая черта, что отделила меня от тех, кто сошёл с корабля безымянными.

— Откуда ты знаешь моё имя? — спросил он, и голос его не изменился, и я не мог понять, зло это или нет.

— Слышал в трюме, — сказал я, и это была вторая ложь, и она вышла так же легко, как и имя «Кайлен», и я отметил это с холодной тревогой: я умею лгать в этом теле. Ложь идёт.

Селлус Гравий помолчал. Потом повернулся к ларю, что стоял у стены пирса, откинул крышку, вынул оттуда рубаху из грубого полотна — тёмную, невзрачную, с короткими рукавами, — и бросил её мне.

— Надень. И вот это — держи.

Он протянул мне нож. Нож был короткий, с прямым клинком, в простых деревянных ножнах, обтянутых тонкой кожей, и рукоять у него была обмотана чёрной бечёвкой, и я взял его, и он лёг в ладонь — не как нож, а как инструмент, как лёг бы гаечный ключ или отвёртка, и я понял, что держу не оружие. Это было — иное.

— Это не оружие, — сказал Селлус Гравий, словно прочитав, — это инструмент. Нож — это всегда инструмент. Вспарывать рыбу. Резать ремни. Заточить кол. И только когда ничего другого не осталось — резать горло. Запомни это. Тот, кто первым хватает нож как оружие, — первый и гибнет от ножа.

Я кивнул. Он кивнул мне в ответ, коротко, как чиновник, у которого в очереди ещё сорок человек, и повернулся к сходням, где уже стоял следующий — высокий, сутулый нордл с лицом, обожжённым солнцем, и не я уже был ему интересен, и не я был в его журнале, и не я был в его мире, и я стоял с рубахой в одной руке и с ножом в другой, и мне ещё нужно было найти Канцелярию, и найти Кая Косайдеса, и найти дорогу в Балмору, и я не знал, где ничего из этого, и знал, что — найду.

— Эй, — окликнул меня Селлус Гравий, и я обернулся. — Подвинь-ка вон тот сундук к стене. Тяжёлый, один не сдвину.

Я подошёл к сундуку. Сундук был из тёмного дерева, окованный по углам медью, и в углу его стояла печать канцелярии — круглая, восковая, тёмно-красная, потрескавшаяся от времени, и я положил ладонь на крышку и толкнул, и сундук сдвинулся на полпальца, и я толкнул ещё, и он сдвинулся ещё, и я понял, что силы в этом теле — немного, что тело это не для сундуков, и что мне придётся привыкать к этому телу так, как привыкают к плохому инструменту, — знать, чего оно не может, и не требовать от него невозможного. Я подвинул сундук к стене, и Селлус Гравий не поблагодарил — только кивнул, и я понял, что это его «спасибо», и что благодарностей здесь не говорят, и что здесь — только жесты, и что надо учиться читать жесты, как читают код, и что язык жестов — это второй язык, и его мне придётся выучить первым.

Глава 4. Канцелярия и Селлус Гравий

Канцелярия Сейда Нин занимала длинное приземистое здание из тёплого серого камня, сложенного насухо, без раствора, — такие стены я видел в учебниках по истории, в разделах про раннее средневековье, и тогда это было для меня картинкой, а сейчас это было под руками, шершавое, тёплое, пахнущее нагретой пылью и нагретым камнем, и я положил ладонь на стену у входа, и стена отдала мне всё тепло, что накопила с утра, и я стоял так секунду, и впитывал, как впитывают тепло собаки, выставив бок к солнцу, и не было в этом ничего человеческого, и я заметил это, и не испугался.

Внутри было прохладно, и пол был каменный, и на пол ложился пыльный свет из трёх окон, прорезанных в южной стене, и в этом свете висели пылинки — медленно, как в киселе, и я остановился у входа, давая глазам привыкнуть, и слышал — отчётливо, отдельно — три звука: шорох пергамента, скрип половицы у стола, далёкий крик чайки снаружи. Запахи открылись мне с новым проходом — старая бумага, пыль, кедровое масло, и под ними, на дне, тёплый воск печати, и кожа, и что-то ещё, горьковатое, лекарственное, от чего пощипывало в носу, как от мяты. Я понял, что у канцелярии есть свой запах, и этот запах — как запах офиса, как запах серверной, как запах лаборатории, — запах рабочего места, где люди делают одно и то же изо дня в день, и где пот, и воск, и масло, и бумага сливаются в единую ноту, какую этот человек будет носить на себе, как носит имя.

Селлус Гравий сидел за длинным столом из тёмного дерева, — стол был завален пергаментами, перевязанными пеньковой бечёвкой, и печати на них были разные — красные, чёрные, зеленоватые, — и я отметил это машинально, как отмечал в логах разные классы ошибок, и понял, что классы разные, и что мир сложнее, чем я его помнил. За спиной Селлуса на полке, вырубленной прямо в каменной стене, лежал лёгкий кожаный доспех — нагрудник с нашивками из толстой кожи, наплечники, поножи, — и я знал, что это не парадный, а рабочий, и я видел по потёртостям, где его чаще били, и я видел по масляным пятнам на коже, что его чистят и смазывают, и я подумал: он ходит в нём под этой рубахой. Это — не кабинет. Это — казарма, которая прикидывается конторой.

— Сядь, — сказал Селлус Гравий, не поднимая глаз от пергамента.

Я сел на каменную скамью у стены, и скамья была холодная, и холод прошёл мне под рубаху и сел на живот, и я чуть согнулся, и Селлус Гравий, не глядя, отметил:

— Не ссутулься. Здесь, если ссутулишься, — посчитают больным, и отправят в лазарет, и в лазарете кормят плохо.

Я выпрямился. Он перо в его руке заскрипело по пергаменту, и скрип этот был долгий, ровный, как у пилы, что пилит раз за разом одну и ту же доску, и я сидел, и ждал, и смотрел, как он пишет, и не видел, что он пишет, и не мог прочесть, и в этом была моя третья тревога: я не знал здешнего письма. Я знал алфавит — по памяти, по картинкам, по смутным воспоминаниям, — но читать я не мог, и писать — не мог, и это было одно из тех незнаний, что я возьму с собой в Балмору, и что, может, меня убьёт.

— Вот, — Селлус Гравий поднял голову и положил перо в желобок. — Подойди.

Я подошёл. Он положил на стол пакет — небольшой, завёрнутый в плотную серую холстину, с тёмно-красной сургучной печатью, на которой была оттиснута маленькая, чёткая, имперская литера, и я не разобрал какая, и не подал виду. К пакету он приложил ключ — короткий, железный, грубый, с квадратным зубом, и я взял ключ, и он лёг в ладонь — холодный, тяжёлый, и я отметил его вес, и вес был — как вес гаечного ключа, и не как вес ключа от квартиры. Я положил ключ и пакет рядом на стол, и Селлус Гравий добавил к ним кожаный мешочек, и в мешочке что-то звякнуло, и я понял, что это деньги.

— Пятьдесят драхм, — сказал он. — Хватит на дорогу до Балмору и на неделю жизни. Не трать на вино. Не трать на женщин. Не трать на карты. И не давай в долг.

— Ясно, — сказал я, и это была третья ложь, потому что не было ясно ничего, и Селлус Гравий это знал, и я знал, что он знает, и мы оба знали, что разговор — формальный, и что формальность — это маска, за которой можно спрятать всё что угодно, и я прятал незнание, и он прятал — что-то своё, и это «что-то своё» я не мог прочесть, и не мог понять, и не мог даже угадать.

— Найдёшь Кая Косайдеса, здесь в Сейда Нин — продолжал Селлус Гравий ровным, казённым тоном. — Кай мастер наставник, как у нас говорят, только не говори этого при нём, он не любит. Он тебя примет, заберёт пакет, скажет, что делать. Если не найдёшь Кая иди прямо в Балмору, найди Гильдию Бойцов, спроси там. Не остановился в Сейда Нин. Не ночуй в Сейда Нин. Здесь, — он чуть помедлил, и в его голосе я уловил что-то новое, не казённое, а почти живое, — здесь не то место, где стоит задерживаться.

— Почему? — спросил я, и Селлус Гравий посмотрел на меня с той же короткой, ничтожной прикидкой, что я видел у него на пирсе, и я понял, что задал лишний вопрос, и что вопросы в этом мире — откладываются, и что в его журнал, рядом с моим именем, он уже что-то записал, и я этого не прочту, и это не надо читать.

— Свои причины, — ответил он. — Одну назову. У нас в Сейда Нин есть один человек. Имя — Эдди Твилл. Не связывайся с ним. Он не тот, кем кажется. Если он к тебе подойдёт — слушай и молчи. Если он тебе что-то предложит — отказывайся. Запомни — Эдди Твилл.

— Эдди Твилл, — повторил я, и Селлус Гравий кивнул, и я понял, что он больше ничего мне не скажет, и что имя — это всё, что он мне дал, кроме пакета, ключа, пятидесяти драхм и казённой рубахи.

Я собрал всё в охапку — пакет, ключ, мешочек, рубаху, что была у меня в руках, — и Селлус Гравий открыл мне дверь, и не протянул руки, и не сказал «прощай», и я не сказал «спасибо», и между нами не было ничего, кроме одной короткой, казённой, ничего не значащей встречи, — но я знал, что мы увидимся ещё, и он знал, что мы увидимся ещё, и я вышел в Сейда Нин, и солнце ударило меня по глазам снова, и я на секунду зажмурился, и в эту секунду я подумал о Питере, и о матери, что, наверное, уже неделю не могла дозвониться, и о недописанном билде, и о коте у бывшей жены, — и всё это было так далеко, что уже не было.

Я замер на пороге Канцелярии. Передо мной лежал Сейда Нин — серый, ветреный, чужой. Каждый переулок манил и пугал одновременно: я не знал, куда свернуть, не знал, что ждёт за следующим поворотом. В этой неопределённости была вся суть этого мира — и моего места в нём. И потому шаг вперёд казался не просто движением, а решением, которое нельзя будет отменить. Я сделал его.

Глава 5. Эдди Твилл: первая ложь

Эдди Твилл стоял у столба, поддерживающего навес над входом в канцелярскую лавку, как будто ждал меня, и, может быть, действительно ждал, — я не знал и не мог знать, и подошёл к нему, потому что дорога в Балмору шла через этот навес, и обойти его было нельзя, и я думал: «Не связывайся с ним», — и я не связывался, я просто шёл, и он стоял, и я не мог не пройти мимо. Он был одет в длинный, тёмный, прекрасно скроенный кафтан, какой носят торговцы, — кафтан был перехвачен витым поясом, и на поясе висел кошель из тонкой, выделанной кожи, и я отметил, что кошель — пустой, и что это — неправильно, и что у торговцев кошель не бывает пустым в середине дня, и что у Эдди Твилла, видимо, были на это свои причины. Лицо у него было тонкое, смуглое, с короткой чёрной бородкой, подстриженной по моде, какую я видел в иллюстрациях к итальянским хроникам пятнадцатого века, и глаза у него были тёмные, и в тёмных глазах — лёгкая, нечитаемая насмешка, как будто он давно уже ничего не принимал всерьёз, и я ему тоже не казался серьёзным.

— Здравствуй, бретон, — сказал он, и голос у него был тихий, ровный, не громче, чем нужно, и в нём была та же мягкость, что в голосе хаджита Джи'дара, — и я тут же понял, что Эдди Твилл — опаснее, чем Селлус Гравий. Селлус был — как охранник. Эдди был — как питон.

— Здравствуй, — ответил я, и не остановился, и сделал ещё один шаг, и Эдди Твилл не двинулся, и я понял, что он меня не пропустит, и что мне придётся стоять, и говорить, и слушать, и что в этом — весь его расчёт.

— Я — Эдди Твилл, — сказал он, и в этом не было ни представления, ни предупреждения, — было только имя, и я должен был его как-то использовать. — Торговец. Вожу сухофрукты и пряности из Садрилита. Иногда — мёд из Скьёральда. Сейчас — в Сейда Нин. Через неделю — обратно. А ты — кто?

Я помнил. Я помнил всё, что говорил Селлус: «Не тот, кем кажется». И я помнил всё, что говорил себе в трюме Джи'дара: «Не знать — значит быть жертвой». И я сказал первую ложь, что пришла в голову, и она вышла легко, и я отметил это с тем же холодным тревожным удивлением, что и в прошлый раз: ложь идёт, ложь в этом теле идёт, как не шёл в моём.

— Торговец, — сказал я. — Из Вайрона. Вожу сукно. В Балмору — на ярмарку.

Это была плохая ложь — я и сам это понимал. Сукно в Балмору не возят: город сам его ткёт. Да и ярмарок в Балморе не бывает. Я не знал этого наверняка, но надеялся, что Эдди Твилл не догадается о моём неведении. Мы смотрели друг другу в глаза. В его тёмных, непрозрачных глазах не мелькнуло ни удивления, ни насмешки и от этого становилось только хуже. Я вдруг ясно понял: он знает, что я вру. И ещё он знает, что я знаю, что он знает.

Между нами затянулась эта тонкая, тугая петля — та самая, что возникает, когда двое держат лица, не позволяя себе ни дрогнуть, ни отвести взгляд. Мы стояли, будто замершие в нелепом танце, и каждый из нас делал вид, что всё в порядке.

.— Из Вайрона, — повторил он медленно, и в голосе его не было ни удивления, ни насмешки. — Сукно. В Балмору. На ярмарку.

— Да, — сказал я.

Эдди Твилл помолчал. Потом поднял руку и поправил воротник кафтана, и в этом жесте не было ничего, кроме жеста, — но я заметил, что рука его поднялась не спеша, и что рука была тёплая, и что под рукавом, у запястья, блеснула рукоять ножа — не казённого, не бечёвочного, как у меня, а тонкого, из тёмной стали, с костяной рукоятью, обмотанной тонкой серебряной проволокой, и я понял, что Эдди Твилл — не торговец, и что Селлус был прав, и что я уже, не успев ничего сделать, вступил в разговор, из которого мне надо было выйти живым.

— Послушай, бретон, — сказал Эдди Твилл, и голос его стал ещё тише, и в нём появилась мягкость, от которой у меня по спине прошла дрожь, и я чуть сжал ладони, и Селлусов нож под рубахой лёг мне на ребро, холодный, как инструмент. — Я не люблю, когда мне врут. Я — торговец, и я умею отличить товар от подделки. Ты — не торговец. Ты — не из Вайрона. Сукна ты не видел. Ярмарок в Балморе не бывает. И я не знаю, кто ты, и мне — не интересно. Но я тебе скажу вот что: ты не разбойник. Разбойник не дрожит. Ты дрожишь. Я это вижу. И ты сейчас, через секунду, решишь — говорить мне правду или нет. Если будешь врать дальше — я тебя убью. Не здесь, не сейчас, не ножом. Через три дня, в Балморе, — найду, и убью. Без злости. Просто — потому что не люблю, когда мне врут. Ты понял?

— Я понял, — ответил я, и голос мой не дрогнул, и я не знал, как у меня это вышло, и я думал: он блефует, или нет? — и не мог решить, и решил, что — нет, не блефует, и что в этом мире, в этом теле, в этот день — блефовать так не умеют, и что Эдди Твилл — не тот, кто блефует зря.

— Тогда — кто ты? — спросил он.

— Я — Кайлен, — сказал я, и это была первая правда, что я сказал в этом мире. — Бретон. Освобождён сегодня с корабля. Иду в Балмору, к Каю Косайдесу. Пакет. Не знаю от кого, не знаю кому. Дали в Канцелярии, и дали деньги на дорогу. Вот — всё. Это — правда.

Эдди Твилл посмотрел на меня долгим, тёмным взглядом, и в этом взгляде что-то изменилось, и я не понял, что, но увидел, что он перестал на меня смотреть как на добычу, и начал смотреть — как на нечто иное, и в этом «ином» не было ни дружбы, ни жалости, а была — та странная, сухая, профессиональная узнаваемость, что бывает у людей одной профессии, когда они видят друг друга. Я не знал, какой профессии он меня отнёс, и это меня тревожило, и я держал лицо, и не дрогнул.

— Кай Косайдес, — повторил он, и в первый раз за весь разговор в его голосе не было ни мягкости, ни угрозы, — было одно только голое, ровное имя, и я понял, что Кай Косайдес — не последний человек в этом мире, и что упоминать его при первом встречном — не то, что я должен был сделать, и что я сделал, и что теперь поздно.

— Иди, — сказал Эдди Твилл. — Иди, бретон. Я тебя не задерживаю. Иди к Каю Косайдесу. Скажи ему — Эдди привет передаёт.

— Скажу, — ответил я. Это была уже четвёртая ложь: я и не собирался ничего говорить, и мы оба это знали. Он знал, что я не скажу, а я знал, что он это понимает. Я двинулся вперёд. Он чуть посторонился, давая мне пройти, и я миновал его. Чувствовал, как его взгляд упирается мне в плечо — тяжёлый, пристальный. Я не обернулся. Ни разу. Только через десять шагов всё-таки не выдержал — оглянулся.

Он стоял на том же месте и смотрел мне вслед. На лице играла тонкая, почти незаметная улыбка — такая, что её смысл никак не удавалось уловить. Я так и не понял, что она значила: насмешку, одобрение или просто холодную игру. Больше я не оборачивался.

Через пятьдесят шагов я услышал позади себя лёгкие, быстрые шаги, и я обернулся, — и Эдди Твилл догонял меня, и я стиснул зубы, и Селлусов нож лёг мне на ребро, и я уже решил, что если он подойдёт ближе, чем на два шага, — я ударю, не раздумывая, и ударю плохо, и не попаду, и он зарежет меня на дороге, — но он остановился в трёх шагах и протянул руку, и в протянутой руке была монета.

— На удачу, — сказал он. — Не потеряй.

Я взял монету. Не потому что хотел. Потому что — нельзя было не взять. Монета была маленькая, медная, с профилем какого-то императора на одной стороне и с надписью, что я не разобрал, на другой, и она легла мне в ладонь, и ладонь приняла её, и Эдди Твилл кивнул, и ушёл, и я стоял на дороге с медной монетой в ладони и с мыслью, что в этом мире мне дали на удачу, и я не знал — кому я должен за эту удачу, и я спрятал монету в мешочек к пятидесяти

драхма́м, и пошёл дальше, и я не знал, что я только что выдержал первое испытание, и что в этом мире первая ложь — всегда самая лёгкая, и что потом — будет тяжелее.

Глава 6. Кай Косайдес: пакет

Дорога от Эдди Твилла до дома Кая Косайдеса шла через весь Сейда Нин, и я прошёл её медленно, и каждый шаг мой отмечал что-то новое, и я не успевал этого всего понять, и шёл, и смотрел, и запоминал, как запоминают первые строки чужого кода, — машинально, телом, не разумом, потому что разум в этот момент был занят другим. Я нёс пакет, и пакет был лёгкий, и в нём что-то тихо перекачивалось, и я чувствовал это перекачивание через холстину, через рубаху, через ребро, — и я нёс его, как носят информацию, и в этом было что-то до одури знакомое, и я на секунду закрыл глаза, и в эту секунду меня ударило — Петербург.

Серый рассвет над Невой. Мокрый гранит набережной. Капли дождя по стеклу такси, что едет по Мойке, и в салоне такси — я, и я не Алексей, и я уже не Кайлен, и я — никто, и я смотрю в окно на гранит, и гранит мокрый, и капли текут по нему, как по щеке. И я вижу офис, наш офис, серое здание на углу, и в окнах — свет, и в окнах — наши тени, и я знаю, что я один из тех теней, и что я сейчас там, наверху, у монитора, и билд не сходится, и я шепчу себе: «Ещё полчаса». Полчаса растянулись в вечность. И вечность оборвалась в трюме, и больше нет ни офиса, ни монитора, ни билда, ни меня. Я сжал пакет чуть крепче, и пальцы мои — чужие пальцы — нащупали сквозь холстину жёсткие углы, и в этих углах мне почудились углы ноутбука, и я открыл глаза, и Петербург ушёл, и передо мной был Сейда Нин, пыльный, белый, с эльфийскими башнями на холме, и я понял, что Петербург остался — там.

Дом Кая Косайдеса стоял на отшибе, у подножия холма, и это был приземистый каменный дом с плоской крышей, и у двери — навес, и под навесом — скамья, и на скамье — пусто, и я постучал в дверь, и дверь открылась без стука, и в проёме стоял человек, и я узнал его, и узнал, как узнают по фотографии человека, которого никогда не видели, — по глазам, по росту, по тому, как он стоит, по тому, как он молчит. Кай Косайдес был невысокий, жилистый, с короткой сединой в тёмных волосах, и одет он был в простую льняную рубаху, не казённую, не парадную, — обыкновенную, как носят те, кто давно уже не считает нужным одеваться для чужого взгляда. Лицо у него было худое, обветренное, с глубокими морщинами у рта, и в этих морщинах была — вся его жизнь, и я не знал этой жизни, и не хотел знать, и мне её не сказали бы. Глаза у него были — серые, как у Селлуса, но — иные: у Селлуса они были водянистые, а у Кая — сухие, и в этой сухости была пустота, и в пустоте — внимание, и в этом внимании не было ни жалости, ни любопытства, а было только ровное, постоянное, профессиональное: я вижу. Я записываю. Я решу.

— Кайлен? — спросил он.

— Кайлен, — ответил я.

— Заходи, — сказал он и посторонился.

Я вошёл, и дверь за мной тихо закрылась. В доме было прохладно, а воздух пах кедровым маслом, старой бумагой — и чем-то ещё, чему я не сразу смог подобрать название. Когда наконец понял, невольно отпрянул: это была смесь корицы и дешёвого вина.

Я помнил, что Кай Косайдес — не последний человек в этом мире, но не знал, в чём именно его вес, какую роль он играет. И никто мне этого так и не объяснил.

Комната была невелика, и у дальней стены стоял стол, и на столе — стопки пергаментов, перевязанных бечёвкой, и ящик с чернильницей, и несколько перьев, и подсвечник с огарком, и графин, и стакан, и я отметил всё это машинально, и сравнил со столом Селлуса, и сравнение было не в пользу Кая: у Селлуса стол был — рабочий, как стол охранника, у Кая — рабочий, как стол аналитика, и в этой разнице была — вся разница между двумя людьми. Кай Косайдес не охранял. Кай Косайдес знал. И знание — опаснее охраны.

— Сядь, — сказал он, и я сел на деревянный табурет у стола, и Кай Косайдес стоял, и я сидел, и в этом — что он стоит, а я сижу — была первая иерархия, что он мне задал, и я её принял, и он это видел, и я видел, что он видел.

— Пакет, — сказал он, и протянул руку, и я дал ему пакет, и он взял его, и не открыл, и положил на стол, и поверх пакета положил ладонь, и ладонь его была сухая, тёплая, и пальцы — длинные, как у пианиста, и я отметил это, и Кай Косайдес, не глядя на меня, спросил:

— Селлус что-то тебе сказал?

— Сказал — найти тебя.

— Ещё?

— Сказал — не связываться с Эдди Твиллом.

— Эдди Твилл, — Кай Косайдес чуть помедлил, и в этом промедлении я уловил что-то, что не было ни удивлением, ни интересом, — было одно только голое, сухое, профессиональное: Селлус помнит о Эдди. — И что ещё Селлус сказал об Эдди?

— Что он — не тот, кем кажется.

— Это — верно, — ответил Кай Косайдес. — Эдди — не тот. Но Селлус не сказал тебе, кем Эдди является. Я — скажу. Эдди — из Гильдии Воров. Не главный. Но и не последний. Слышишь?

— Слышу.

— Ещё Селлус тебе что-то дал? — спросил Кай, и в этом вопросе была — осторожность, и я её услышал, и понял, что Селлус дал мне что-то, чего не должен был, и что Кай — знает, и что Кай — хочет знать, знаю ли я.

— Драхмы, — ответил я. — Пятьдесят. И ключ.

— Ключ — от чего?

— Не знаю. Селлус не сказал.

— Не сказал, — Кай помолчал. — Ключ — от двери в Балморе. Улица Канал, дом два, второй этаж. Там — квартира для агента, что работает на меня. Запомни: улица Канал, два, второй этаж. Ключ — железный, квадратный зуб, — ты его узнаешь.

— Ясно, — сказал я, и это была пятая ложь, и я не знал, была ли она ложью, и я не хотел считать.

— Иди в Балмору, — продолжал Кай Косайдес ровным, негромким голосом, и в этом голосе была усталость, что я узнал, — усталость человека, что сказал эти слова сто раз и скажет ещё сто, и что не ждёт от них ничего. — В Балморе — три гильдии. Гильдия Бойцов. Гильдия Магов. Гильдия Воров. Вступишь в них, не обязательно во все три — но желательно. Вернёшься с отчётом. Не пиши. Приходи лично. Найдешь меня в Балморе или здесь.

— Что я должен делать в гильдиях?

— Узнать, кто чем дышит. Кто на кого работает. Кто кого боится. Кому можно дать деньги. Кому — нельзя. Кто — продаёт. Кто — покупает. Это всё. Ты не воин. Ты не маг. Ты — наблюдатель. Запомни это. Ты — глаза и уши. Не руки.

— А если на меня поднимут руку?

Кай Косайдес посмотрел на меня долгим, сухим, серым взглядом, и в этом взгляде не было ни жалости, ни обещания, и я понял, что вопрос — лишний, и что на этот вопрос мне не ответят.

— Выкручивайся сам, — ответил он. — И это — всё. Запомни главное. Тебя освободили. Это не значит, что ты свободен. Это значит, что ты — наш. Ты — имперский агент. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Ты будешь ходить, куда я тебе скажу. Ты будешь слушать тех, кого я скажу. И ты будешь — молчать. Всегда. О всех. Всё.

Я кивнул. Кай Косайдес встал и подошёл к двери, и открыл её, и в проёме лежал свет Сейда Нина, и в этом свете стояла пыль, и пыль висела, и я вышел, и Кай Косайдес не подал мне руки, и не сказал «прощай», и я не сказал «спасибо», и дверь за мной закрылась, и я стоял

на пороге дома Кая Косайдеса, и передо мной лежал Сейда Нин, и я — имперский агент. И ничего. Больше ничего. И это — всё.

Глава 7. Сейда Нин: первый шок

Из дома Кая Косайдеса я вышел уже другим, — не потому что я изменился, а потому что у меня появилось слово, и слово это было — «агент». Я шёл по пыльной улице Сейда Нина, и это слово лежало у меня в голове, как лежит в логах новая метка, что меняет класс всех ошибок, и я уже не был Кайленом-бретоном-освобождённым, я был Кайленом-имперским-агентом, и разница между двумя этими состояниями была — в том, что второе знали те, кого не знаешь, и я их не знал, и это меня тревожило, и я шёл, и пыль ложилась мне на плечи, и я не обмахивал её, и я не обращал на неё внимания, и я шёл через рынок, и рынок менялся у меня на глазах.

Я шёл и видел — то, что в моей памяти было картинкой, стало текстурой, и запахом, и звуком, и движением. Аргонианин, что я помнил как одинокий силуэт у мостков, стоял у лотка, и швырял серебристые тушки рыбы на прилавок, и заворачивал их в грубую бумагу, и протягивал покупателю, — и всё это в одном плавном, отработанном движении, без единого лишнего жеста. Три серебрушки, не торгуюсь, — бросил он, не поднимая глаз, и тут же повернулся к следующему, и покупатель отошёл, и деньги пересчитаны, и свёрток унесён, и никакой суеты, и никаких лишних взглядов, и я стоял в полутени переулка, и я запоминал ритм — тон голоса, жест руки, то, как аргонианин чуть приподнимал бровь, если монета казалась ему сомнительной. Я понял: здесь не ценили болтовню. Здесь платили за скорость и точность. И чтобы не выделяться, мне придётся двигаться так же — быстро, без лишних слов, будто я всегда был частью этого рынка.

И я двинулся, и попытался двигаться так, и у меня не вышло, и аргонианин поднял на меня глаза, — и глаза у него были жёлтые, без зрачков, с вертикальной прорезью, как у Жи'дара, но в этих глазах не было той мягкости, что у хаджита, — в них была — холодная, медленная, оценка человека-ящера, и я отвёл взгляд первым, и я понял, что не выдержал первого в этом мире прямого взгляда, и что в этом мире прямой взгляд — это вызов, и что я — не готов к вызовам, и что мне надо учиться держать лицо и держать взгляд, и что это — первый урок, и я его провалил.

Эльфийка-торговка стояла через три лотка, и я подошёл к ней, и она не посмотрела на меня, и не поздоровалась, и не предложила товар, и я стоял, и я ждал, и она — не обращала на меня внимания, и в этом не было ни грубости, ни высокомерия, — было одно только полное, ровное отсутствие интереса, как будто я был воздухом, и я понял, что в этом мире — чужой не стоит того, чтобы его замечать, и что чужой должен сделать что-то, чтобы его заметили, и что я — чужой, и что мне это — только на руку, и что не быть замеченным — это и есть свобода, и что свобода — это и есть — быть невидимым.

Я пошёл дальше, и подошёл к лотку с вином, и у лотка стоял нордл — высокий, в кожаной куртке, с красным обветренным лицом, и от него пахло прокисшим пивом и потом, и он не был пьян, но и не был трезв, и он стоял у лотка, и он не давал мне пройти, и я попытался пройти мимо, и он поднял руку и схватил меня за ворот, и ворот затянулся у меня на горле, и я почувствовал его руку — тяжёлую, холодную, с пальцами, что пахли рыбой, и я понял, что это — первое в этом мире, что мне угрожает напрямую, и я не знал, что делать, и я стоял, и я ждал.

— Что тебе нужно? — спросил нордл, и голос у него был хриплый, низкий, и в этом голосе была — та же усталость, что у всех в этом мире, — усталость людей, что долго жили и что устали жить.

— Простите, — сказал я, и это было первое, что пришло в голову, и я не знал, годится ли это, и я отпустил взгляд, и я отступил, и нордл не отпустил ворот, и я стоял, и я ждал, и я подумал: «Сейчас он меня ударит, и я упаду, и он меня пнёт, и я умру на пыльной улице Сейда Нина, и я умру за то, что не знал, что ответить».

— Простите, — повторил я, и голос мой вышел — тихий, ровный, и я не узнал его, и нордл меня отпустил, и я отступил, и он отвернулся, и я ушёл, и я не оглядывался, и я не оглядывался, и я не оглядывался.

Я дошёл до конца улицы, и я прислонился к стене, и я стоял, и я дышал, и я думал: я — никто. И это — нормально. В игре эти люди были NPC. Здесь — люди. Здесь — нельзя подойти и заговорить. Здесь — надо понимать, где стоишь. Я не понимаю, где стою. Я стою — у стены, в полутени, и пыль ложится мне на плечи, и я не знаю, что мне делать, и я знаю — что мне делать, и я не хочу этого делать, и мне придётся, и я двинулся дальше, и я пошёл из Сейда Нина, и дорога в Балмору лежала передо мной — пыльная, каменистая, с белыми силуэтами камней на горизонте, и я шёл, и я не оглядывался, и я не оглядывался, и я не оглядывался, и в этом «не оглядывался» — вся моя жизнь до этого момента, и вся моя жизнь после, и я не знаю, доживу ли я до вечера. И в этом — весь этот мир.

Глава 8. Дорога в Балмору: крыса-грязеког

Дорога из Сейда Нина в Балмору шла по пыльной равнине, и я шёл по ней, и пыль поднималась мне до щиколоток, и оседала на сапогах, и оседала на плечах, и оседала на ресницах, и я моргал, и пыль скрипела на зубах, и я шёл, и дорога шла — прямо, и я шёл — прямо, и ничего вокруг не было, кроме камней, и травы, и белого неба, и солнца, что пекло мне в темя, и я не знаю, сколько я шёл, — час, может, два, — и я устал, и я присел у большого камня, и я положил пакет на колени, и я смотрел на дорогу, и я видел, что дорога — пуста, и в этой пустоте было что-то нехорошее, и я не сразу понял — что, и потом понял: здесь нет столбов. Здесь нет миль. Здесь нет знаков. Здесь — только пыль, и камень, и небо, и я — один на дороге, и никто не знает, что я здесь, и если я исчезну, то исчезну, и никто не спросит.

И я сидел, и я смотрел, и я услышал — шорох. Я обернулся. Из-за камня, что лежал в пяти шагах от меня, выбиралась тварь — и я узнал её, и узнал по памяти, и в этой узнаваемости — холодная, страшная, нечитаемая неправда: это была крыса. Но это — была не крыса. Это был грязеког. Большой, серый, с мокрой чешуёй, что поблёскивала на солнце, как поблёскивают мокрые камни на отмели, и пасть у него была — широкая, с мелкими, острыми, неровными зубами, и лапы — короткие, сильные, и я встал, и я отпрянул, и грязеког прыгнул, и я не успел, и он ударил меня в голень, и я упал, и я почувствовал, как зубы его прошли сквозь штанину, и прошли сквозь кожу, и я закричал — не от боли, а от неожиданности, и я уже лежал на спине, и я уже видел небо, и я уже видел, что грязеког навалился на меня, и я уже понял, что я — ему не нравлюсь, и что он — голоден, и что я — еда.

Я не думал — я просто действовал. Выхватил нож из ножен и ударил. Удар вышел неловким, пришёлся не туда. Я ударил снова, потом ещё и ещё — не помню, сколько раз. В голове осталась только вязкая, тяжёлая череда движений, будто кто-то чужой дёргал мои руки.

Помню лишь, что грязеког умирал долго. Помню, как в воздухе повисла густая, горькая вонь — от ножа, от моих рук, от самой смерти. А потом я оказался на пыльной дороге — лежал, смотрел в серое небо и снова и снова прокручивал в голове одну и ту же мысль: я зарезал грязекога.

Я лежал, тяжело дыша, и не мог пошевелиться. Взгляд упирался в белое небо — ни облаков, ни птиц, только пустая белизна. Время растворилось: минута, две, пять — не знаю.

Чувствовал, как из голени сочится кровь, как колотится сердце под рёбрами. Понимал: я жив — хотя не должен был остаться в живых. Грязеког не должен был меня укусить, я не должен был убить тварь... Но в этом мире нет никакого «должен». Есть только то, что случилось.

Только я, кровь, нож и огромная серая тварь у ног — мокрая, неподвижная. Я её зарезал. И теперь оставалось лишь лежать и принимать эту правду.

Я сел, и я посмотрел на нож, и нож был — красный, и рукоять была — скользкая, и я вытер его о штанину, и я вытер его плохо, и я сунул его в ножны, и я встал, и колено моё не держало, и я сел обратно, и я понял, что я не могу идти, и что я не могу стоять, и что мне надо — посидеть, и я сидел, и я смотрел на грязекога, и я смотрел на его мокрую чешую, и я смотрел на его пасть, что была — открыта, и на его зубы, что были — мелкие, и я подумал: «Она не была крысой. Она была — кем-то, кто назвался крысой. Или — кем-то, кого я назвал крысой, чтобы было проще. Проще не стало».

И в эту секунду, когда я сидел и смотрел на грязекога, из марева пыли вынырнул путник — в потрёпанном плаще, с посохом и мешком за спиной. Он шёл по дороге, и он меня ещё не видел, и я — не двигался, и я ждал, и он поравнялся со мной, и он замедлил шаг, и он скользнул взглядом по мне, по грязекогу, по моим рукам, по моему ножу, и в этом взгляде не было ни любопытства, ни осуждения, — была одна только спокойная, почти равнодушная оценка, и я не мог понять её, и я не хотел понимать, и я сидел, и я ждал.

Путник коротко кивнул — не то приветствие, не то молчаливое «всё в порядке, я тебя вижу». И тут же пошёл дальше, мерно стуча посохом по каменистой дороге, будто подтверждая: да, он заметил, но вмешиваться не станет.

После того как путник скрылся в дрожащем мареве зноя, я остался на дороге наедине с мёртвым грязекогом, с собственной кровью, что медленно текла из разорванной голени, и с пониманием, что в этом мире мне не положено ни спасителя, ни свидетеля. Минуту я лежал на спине, глядя в белёсое небо, в котором не было ни облаков, ни птиц, ни намёка на то, что где-то впереди существует город с тёплым камнем и трактиром, где наливают воду за десять медяков. Потом сел, и колено тут же отозвалось тупой болью, и я посмотрел на ногу: штанина промокла насквозь, ткань прилипла к коже, и кровь, тёмная и густая, продолжала сочиться из рваных ран, оставленных мелкими зубами твари. Я разорвал штанину дальше, стараясь не шевелить голенью, и увидел, что раны неглубокие, но рваные, и в них виднелись белые нити чешуи, что принесла с собой пасть грязекога. Перевязать было нечем.

Я снял с пояса пакет, что вручил мне Кай Косайдес, развязал грубую верёвку, державшую упаковку, и выложил содержимое на пыльный камень у обочины: запечатанный свиток с печатью Гильдии Бойцов, медный ключ с бородками в три ряда, пятьдесят драхм мелочью и медную монету Эдди Твилла, что лежала в стороне, будто не желая смешиваться с остальными. Упаковочная ткань была длинной полосой небелёного льна, чуть жёсткой, пахнущей кедровым маслом и сургучом; я разорвал её вдоль на две ленты, нижнюю обмотал вокруг голени в три слоя, туго завязал узлом и почувствовал, как кровь замедлилась, а боль притупилась до терпимого гудения. Оставшуюся часть пакета я собрал обратно в узел и заткнул за пояс; грубость ткани на бедре ощущалась единственной твёрдой опорой в дне, что к тому времени сделалось зыбким.

Грязекога я оставил у обочины. В игре, будь это игрой, с него полагалось бы снять клешню, кусок панциря, нечто, что могло сгодиться алхимику в Сейда Нин за пару монет; здесь не полагалось ничего, возможно я ошибался, но потрошить тварь желания не было. Я подобрал нож Селлуса Гравия, вытер его о штанину, сунул обратно в ножны и двинулся дальше; дорога пошла передо мной прямо и пыльно, и безразлично.

Первый день я шёл до темноты. Дорога тянулась по пыльной равнине, на которой не было ничего, кроме камня, и травы, и белого неба, и солнца, что медленно катилось к западу; я шёл и считал часы по длине тени, и к вечеру моя тень вытянулась вдвое, и тогда я понял, что пора искать ночлег. У дороги мне попался скальный навес, невысокий, но достаточный, чтобы укрыться от ветра, и под навесом кто-то уже разводил огонь, о чём говорили чёрные камни в кругу, обугленные палочки и рыба кость, отложенная в сторону. Я не стал разводить новый огонь, а разжёг старый, подбросив сухой травы и щепы, набранных у обочины; пламя занималось плохо, и дым шёл едкий, горький, с запахом какой-то местной смолы, что въедалась в ноздри, но тепло было теплом, и я сел у огня, снял сапоги, осмотрел повязку и увидел, что кровь проступила, но слабо, и тугой узел держал.

Пакет я положил рядом, на чистый камень. Свечи у меня не было, и в сумерках я развязал узел, пересчитал содержимое: свиток, ключ, пятьдесят драхм, медная монета Эдди Твилла. Пальцы мои, привычные к клавиатуре, к считыванию символов в темноте монитора, сейчас читали рельеф монет на ощупь, и в этом занятии было что-то медитативное, почти домашнее. Драхмы были разные: одни старше, с истёртым профилем какого-то имперца, другие свежее, с резким ободком и чёткой датой выбивки; медная монета Эдди была иной. На ней не было ни профиля, ни герба, только завиток, что мог быть и змеей, и рекой, и ничем, и в этом «ничем» заключался весь Эдди Твилл, каким я его запомнил.

Я поел. Казённый паёк, что выдал Селлус Гравий, состоял из ломтя тёмного хлеба, куска копчёной рыбы и фляги с водой, нагретой к вечеру до температуры чая. Я съел половину, половину оставил, лёг, подложил пакет под голову, положил нож рядом и смотрел, как гаснет

огонь; в этом угасании было нечто привычное, нечто из прошлой жизни, когда я смотрел, как гаснет экран монитора в пустом офисе, и последнее окно закрывалось, и оставался только гул сервера, и тишина, и я один на один с тем, что не успел сделать за день.

Сон пришёл странный, рваный. Снился Петербург, снилась Нева, снилось, что я стою у окна в офисе и смотрю на мост, и по мосту идёт кто-то, кто мне нужен, и я не могу вспомнить, кто, а когда он подходит ближе, я вижу, что это я сам, и меня нет ни здесь, ни там, ни где бы то ни было. Проснулся я от холода: огонь давно погас, небо было чёрным, без звёзд, и я лежал, не двигаясь, считая до ста, и встал, когда небо на востоке начало сереть.

Второй день я шёл быстрее, чем первый. Повязка на голени держала, колено разошлось, боль стала привычной, и в этой привычке было нечто правильное, как в правильном коде, где ошибка перестаёт быть ошибкой и становится особенностью, учитываемой при компиляции. Дорога тянулась по той же равнине, но пейзаж начал меняться: появились невысокие холмы, поросшие жёсткой серо-зелёной травой, а в низинах кусты, что пахли сладковато-горьким, и в этом запахе я узнавал корень чего-то, что в игре называлось алхимическим ингредиентом. Я не стал собирать. Я шёл, считал тени, и к вечеру второго дня увидел, что дорога пошла под гору, а впереди, за поворотом, в низине что-то двигалось.

Я остановился. Ветер нёс мне звуки: тяжёлое дыхание, рык и ещё человеческий голос, сиплый, отчаянный. Я прибавил шагу, и у поворота увидел.

На дороге стоял гуар. Дикий. Большая самка ростом по грудь взрослому мужчине, с серо-зелёной чешуёй, что стояла дыбом на загривке, и гребнем, поднявшимся и потемневшим от ярости. Домашние гуары в Морровинде суть выючные звери, покорные, с глупыми добрыми глазами; дикие иные. У диких гуаров глаза жёлтые, узкие, и в них нет ничего доброго, и пасть шире, и зубы длиннее, и когти на передних лапах что крюки мясника. Эта самка была голодна, защищала что-то, рычала и била хвостом по земле, а перед ней, отступая и держа перед собой посох, стоял человек.

Человек был бретонец. Я узнал его по лицу, узнаваемому в любой провинции Империи: тонкие черты, высокий лоб, светлая кожа, тёмные волосы, что спадали на плечи, и короткая борода, что подрастала неровно, как у человека, забывшего побриться пару дней. На нём была потёртая кожаная куртка, подбитая дешёвым мехом, штаны из грубого полотна, сапоги стоптанные, с оторванной подошвой на правом; в руках посох, не боевой, а дорожный, с навершием из обточенного камня, и в этом посохе не было ничего, что могло бы остановить гуара, и бретонец это знал, и отступал, и кричал, не слова, а крик, и в этом крике была вся его смертная тварная природа.

Я бросился. Ноги мои несли меня по склону, и я не чувствовал боли в колене, и нож Селлуса Гравия сам прыгнул в руку из ножен, и я бежал, и не успел. Не успел, потому что гуар, в своей голодной ярости, не видела ничего, кроме добычи перед собой, а бретонец отступал, поскользнулся, упал, и посох выпал, и гуар прыгнул.

Я закричал, чтобы отвлечь, и гуар обернулась на полсекунды, на четверть, и этого мне хватило, чтобы подбежать, вонзить нож в бок твари, провернуть и тянуть вниз, по рёбрам, по чешуе, что захрустела под лезвием; кровь гуара, тёмная, густая, с запахом мускуса, хлынула мне на руки. Гуар взревела, ударила хвостом, я отлетел, упал, ударился головой о камень, в глазах потемнело, и я слышал, как тварь бьётся, как бьётся бретонец, и наконец короткий влажный хруст.

Я поднялся. Гуар ещё стояла, но уже падала: передние лапы подогнулись, кровь текла из бока, пасть была открыта, и в этой пасти, и в этой крови, я увидел шею. Шею бретонца. Гуар, будучи уже мёртвой, успела сомкнуть челюсти. Я подбежал, ударил ножом ещё раз, в основание черепа, туда, где у твари сходятся позвонки, и гуар упала окончательно, разжала зубы, и бретонец повалился на бок, и я опустил рядом, и понял: поздно.

Горло бретонца было разорвано. Артерия порвана, и кровь, тёмная, пульсирующая, выходила толчками, и каждый толчок был реже предыдущего; я смотрел и понимал, что мне нужно было сделать, но я не успел, и теперь уже поздно. Бретонец открыл глаза, голубые, светлые, с белками, что краснели от давления, рот его раскрылся, и из горла шёл не звук, а воздух и кровь; я взял его за руку, и рука была тёплая, и пальцы цеплялись за мои, и я держал, и он умер, быстро, в три вдоха, в четыре, и я держал его руку, и рука остыла, и я отпустил.

Я сидел на дороге, и труп бретонца лежал у моих ног, и труп гуара лежал рядом, и кровь их смешалась в пыли, и пахла медью, и мускусом, и чем-то ещё, чему я не мог дать названия. Солнце садилось за холмами, и тени, моя, бретонца, гуара, слились в одну, и в этой тени было молчание, и в молчании было то, что я не мог ни проглотить, ни выплюнуть, и я сидел.

Через четверть часа я встал. Труп бретонца обыскать. Эта мысль пришла не как желание, а как необходимость. В этом мире мёртвые не нуждаются в имуществе, а живые нуждаются во всём, и я был жив. Я подошёл, опустился на колени и осмотрел тело без брезгливости, без жалости, с тем ровным, холодным вниманием, что вырабатывается в человеке, подолгу имевшем дело с системами, не терпящими сентиментов.

Куртка бретонца была расстёгнута. Во внутреннем кармане лежал кошелек: двадцать три драхмы мелочью и два золотых, что в Сейда Нин стоили немного, но здесь, на дороге, были жизнью. В другом кармане я нашёл сложенный лист пергамента с письмом, что я не стал читать, потому что оно не моё. В сумке на поясе были фляга, наполовину пустая, с кислым вином; ломоть хлеба, засохший; кусок сыра, завернутый в лопух; огниво костяное, с железной пластиной; трубка глиняная, с пеплом, и кисет с табаком, что пах дёгтем и мёдом. Всё это я сложил в свою котомку, и всё это было буднично, и в этой будничности не было ни ужаса, ни стыда, а была лишь ровная, тягучая усталость человека, который знает, что завтра ему предстоит идти дальше, и что идти ему предстоит одному.

И последнее, на пальце бретонца. Я снял его с безымянного пальца левой руки; палец уже остыл, и кольцо снялось легко. Серебряное, узкое, с накладкой из желтоватого металла, что мог быть и золотом, и бронзой, и медью. На накладке гравировка, тонкая, ручная, узор, что завивался в три петли, и в этом узоре я узнал знак. Малое кольцо исцеления. Я видел такие в игре, и в игре они стоили немного, и в игре я их не покупал, потому что в игре у меня было иное. Здесь у меня не было ничего. Я надел кольцо на мизинец, и оно подошло, и в нём, как мне показалось, осталось три, нет, четыре заряда. Четыре касания, что могли излечить рану, снять опухоль. Я мог исцелить себя и не стал: повязка на голени держала, и я берёг заряды на потом, на потом, на потом, потому что «потом» в этом мире ближе, чем «сейчас».

Я обыскал и гуара. С гуара снять было почти нечего. Один клык, что я выломал ножом, и клык был длинный, желтоватый, с корнем, что поблёскивал кровью; я обмыл его в стороне, в луже, что стояла в выемке камня, и завернул в лоскут, оторванный от подкладки куртки бретонца. Чешую брать не стал: тяжела, и возиться некогда. Мясо брать не стал: я не был настолько голоден. Я встал, оглядел дорогу и увидел, что ночь идёт, и мне нужен ночлег.

В двухстах шагах от места боя, у подножия скального выступа, я нашёл то, что искал. Пещерка, неглубокая, в три моих роста, но с сухим полом и узким входом, что я мог закрыть своим телом, если придётся, и в этом было спокойствие. Я натащил сухой травы, и веток, и коры, разжёг огонь, и огонь занялся хорошо, и я сидел, смотрел, грел руки; в руках у меня была фляга бретонца, и во фляге кислое вино, я выпил половину, вино ударило в голову, я расслабился и впервые за два дня почувствовал усталость, что шла не от ног, а от души.

Кольцо я держал в левой руке, поворачивал и смотрел на него при свете огня. Серебро в плясавших бликах казалось живым, и гравировка, те три петли, то вступала в свет, то уходила в тень, и я думал о том, как этот узор наносил мастер, сидевший где-то в имперской гильдии за низким столом, с лупой в глазу и резцом в пальцах, вертя кольцо в держателе из мягкого свинца, и не зная, кому достанется его работа, и не гадая, что носить её будет чужак, занявший

чужое тело, на пальце, что раньше ему не принадлежал. В этом размышлении было что-то нездоровое, что-то из прошлой жизни, когда я сидел и крутил в пальцах флешку, а на флешке был последний билд, и последний билд был мой. Здесь последнее кольцо было чужое, и чужим оно и останется, и я его забрал, и в этом было всё, что я мог забрать у этого мира, и всё, что этот мир мог мне дать.

В эту ночь мне не снился Петербург. Мне снился бретонец. Он стоял у входа в пещеру и смотрел на меня; горло его было цело, глаза были голубы, и он ничего не говорил, только смотрел, и я не мог разобрать, то ли это укор, то ли позволение, и я проснулся в серых сумерках с привкусом кислого вина во рту и кольцом всё ещё в левой руке. Я собрался не торопясь. Съел остаток хлеба и сыра бретонца, допил его вино, умылся в луже, перевязал голень свежей полосой, оторванной от его же рубахи, и вышел на дорогу.

Балмора открылась мне не сразу, а по частям, как выходят из тумана детали незнакомого механизма: сначала мост через реку, длинный, каменный, с тремя арками, а под мостом зелёная вода, медленная, с водорослями, что колыхались на дне, как колышутся волосы в воде; потом дома на другом берегу, приземистые, из тёплого камня, с плоскими крышами, а на крышах бельё, и бочки, и люди, что смотрели на мост и на меня; потом звук, что я узнал, как узнают родной язык в чужой стране, звук города: гул, что стоял над Балморой, как стоит тёплый воздух над печью, и в этом гуле были крики, и стук молотков, и скрип повозок, и лай собак, и звон молота о наковальню, и звон чего-то ещё, что я не мог уловить, и в этой недоступности звука мне была первая тревога в Балморе, и я не знал, откуда она шла.

Я стоял на мосту и смотрел на город, и я понимал, что дошёл. Что Сейда Нин остался за спиной, что трюм корабля остался за спиной, что Петербург остался за спиной, что всё, что было «до», было, а всё, что будет «после», будет здесь, в этом городе, что лежал передо мной, и что я войду в него, иного пути нет, и если я сейчас поверну и пойду обратно, то умру на дороге, и мне некуда больше идти, и незачем больше идти, и я пошёл и вошёл, и мост подо мной сменился улицей, и пыль сменилась пылью, и запах запахом, и я шёл по улице, не зная, куда иду, и искал таверну, и искал дверь, и искал всё, что ищут в чужом городе, и нашёл.

Таверна называлась «Восемь тарелок», и я узнал её по запаху: дым, пряная капуста, старое дерево, а под всем этим кислое густое пиво, а под пивом что-то ещё, чему я не мог дать имени, но что узнавал, запах жизни, что живёт на одном месте долго, и живёт не плохо, и живёт не хорошо, и живёт просто, и в этой простоте была первая моя надежда за весь этот день.

Я стоял на пороге и не решался войти, стоял секунду, две, три, и в это время из двери вышел кто-то, и дверь распахнулась, и я вошёл, и таверна открылась мне, как открывается чужая квартира, когда тебя пригласили, и ты идёшь по коридору, и считаешь двери, и не знаешь, в какую тебе. За стойкой стоял трактирщик, плотный мужчина с обветренным лицом и тяжёлыми руками, что, казалось, привыкли к любому делу: хоть бочку катить, хоть слово обрубить. Он мельком глянул на меня, будто взвешивая: беда или просто усталый путник, и я понял, что в этом мире я усталый путник, и я моя цена, и я мой вес, и я то, что меня взвешивают.

— Чего надо? — спросил он, не грубо, но и без улыбки. Просто вопрос, без подтекста.

Я сглотнул, стараясь не выдать дрожь в голосе, и сказал:

— Воды. Если можно. И, может, кусок хлеба.

Трактирщик хмыкнул, не насмешливо, а скорее оценивающе, налил в глиняную кружку мутноватой воды из кувшина, отрезал ломоть тёмного хлеба, положил на грубую тарелку и подвинул через стойку.

— Держи. Десять медяков.

Я торопливо вытащил монеты, пересчитал, протянул. Трактирщик принял, ссыпал в ящик, коротко кивнул:

— Спасибо. Садись у окна, там светлее.

Я опустился на лавку, сжал в пальцах кружку, вдохнул этот простой, земной запах трактира. И вдруг понял: никто не спрашивает, откуда я, никто не сверлит взглядом, никто не ждёт подвоха. Здесь просто дают воду и берут плату. Здесь всё нормально.

На полминуты напряжение отпустило. Плечи опустились, пальцы перестали сжиматься в кулаки. Впервые с тех пор, как я оказался в этом мире, я позволил себе просто быть, без оглядки, без страха, как будто имел право сидеть здесь и пить воду из грубой кружки. И в этом «имел право» было всё, что мне нужно было в этот вечер, и в этой полуминуте было всё, что мне дал этот мир за весь мой день.

Трактирщик тем временем протирал кружку тряпкой, время от времени поглядывая по сторонам, не из любопытства, а по привычке, чтобы всё шло как надо. И этого спокойного, будничного ритма оказалось достаточно, чтобы я впервые за долгое время почувствовал: я не один в этом чужом мире. Вокруг меня люди, живущие обычной жизнью, и, возможно, мне тоже удастся в неё встроиться.

Я съел хлеб, выпил воду, попросил комнату, и трактирщик кивнул, и я поднялся по лестнице на второй этаж. Комната была маленькая, с низким потолком, и в ней были кровать, и стул, и стол, а на столе свеча, и я зажёл свечу, и сел на кровать, и снял сапоги, и снял рубаху, и лёг, и положил пакет на стол, и ключ на стол, и нож под подушку, и пятьдесят драхм под подушку, и медную монету Эдди Твилла отдельно, на стол, и смотрел на неё, и не знал, что с ней делать.

Тогда я снял с мизинца серебряное кольцо бретонца, положил рядом с монетой Эдди и смотрел на них обоих. Свет свечи ложился на серебро и на медь по-разному: серебро холодно бликовало, медь тянула к тёплому, и в этой разнице было всё, что отличает мёртвого от живого, и я не мог разобрать, кто из них кого пережил, и кто кому теперь принадлежит.

И в эту минуту, перед тем как лечь, я подумал: я дожил до вечера. Это не победа. Это отсрочка. Завтра новый день. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, доживу ли до завтрашнего вечера. И в этом незнании весь мой завтрашний день, и вся моя завтрашняя жизнь, и вся моя отсрочка.

Я лёг, закрыл глаза и заснул. Сон унёс меня в Петербург: я стоял в метро, рядом была мать, она говорила мне что-то, и я не мог услышать, я видел её лицо, старое и усталое, хотел сказать ей: «Мама, я жив», и не мог. Проснулся я в Балморе, в комнате горела свеча, я лежал на кровати и смотрел в потолок, и понимал, что сон есть сон, а жизнь есть жизнь, и что в этом мире сон не спасение, и больше мне надеяться не на что.